

ЗИНАИДА ГИППИУС

НЕУЛОВИМАЯ

Зинаида Николаевна Гиппиус

Неуловимая

Аннотация

«Мне хочется рассказать, как я был болен и вылечился. Я так радуюсь тому, что вылечился, так часто думаю об этом счастье, что мне ужасно хочется рассказывать. Для этого я должен коснуться трех периодов моей жизни...»

Содержание

I	4
II	8
III	12
IV	16
V	19
VI	21
VII	23
VIII	25
IX	28

Зинаида Гиппиус

Неуловимая

I

Мне хочется рассказать, как я был болен и вылечился. Я так радуюсь тому, что вылечился, так часто думаю об этом счастье, что мне ужасно хочется рассказывать. Для этого я должен коснуться трех периодов моей жизни.

Иначе, как болезнью, я не могу назвать странный случай, который переломил надвое мою жизнь. По существу я здоров, нормален. Моя болезнь была несчастьем, я могу вспоминать об этом затмении только потому, что все минуло. Нет сомнения, что минуло. Но перейду к рассказу.

Я, собственно, никто. Никакого у меня всепоглощающего дела не было никогда. Я кончил университет, очень увлекался игрой на виолончели, поступил в консерваторию, но потом бросил. Я всегда был один, как перст; не помню ни отца, ни матери, ни родственников, ни друзей. Я привык к одиночеству, мне даже странно видеть человека, у которого есть, например, брат.

Надо заметить, что я немного хром и вообще некрасив. Несмотря на это или благодаря этому, я всегда чрезвычайно нравился женщинам. Я не любил ни одной, хотя был очень

влюбчив. Мне нравились и брюнетки, и блондинки, в каждой я умел находить только ей присущую привлекательность. У одной были премиленькие ушки, и это стоило того, чтобы поухаживать за ней и получить привязанность, от которой, если она меня утруждала, я очень ловко ускользал. У другой была тоненькая талия. В третьей меня очаровал голос – и я никак не мог устоять против голоса.

Были у меня и такие, в которых мне нравилась только их привязанность ко мне. Эту привязанность я – Боже сохрани – не охлаждал, я только не старался ее раздувать, оставлял, так сказать, про запас. Хотя я к одиночеству и привык, однако чрезвычайно дорожил любовью женщин и молодых девушек: это меня ласкало, нежило, баловало и вообще давало необходимый комфорт.

Но вот на сорок четвертом году моей жизни со мной случилось нечто, прервавшее мирное и удобное течение моих дней.

Однажды после Рождества столпились разные обстоятельства, заставившие меня подумать о временном отъезде из Петербурга. Дело в том, что я занимался теорией музыки с одной очень милой девочкой. Ей было лет четырнадцать или пятнадцать. Я знал ее давно, еще пятилетней. Помимо музыкальных уроков я развивал ее и в других направлениях. Семья была довольно безалаберная. Отец давно умер. Мать, не очень старая, но рано поблекшая, как все женщины южных стран (она была, кажется, испанская донья), целый день спа-

ла или грызла пряники, не обращая внимания на дочь. Девочка, которую звали Елена, росла дикой, одинокой, болезненной. Она была очень красива, вероятно похожа на мать в молодости. Бледная, с горящими, как у волка, безумными черными глазами и растрепанными черными волосами цвета ваксы. Она мне нравилась, как хорошенький дикий зверек. Но, чтобы не затягивать рассказа, скажу прямо, что эта милая девочка влюбилась в меня со всей испанской пылкостью. Я даже и не ожидал такой стремительности, с моей стороны не было ни малейшего к тому повода, простые пожатия рук, сильные и частые, правда, но разве этого достаточно? Несколько томных слов... и пожар вспыхнул! Признаюсь, несмотря на удовольствие от сознания, что я опять и опять любим, я был смущен. Такая кастильянка! Я даже чувствовал некоторый страх. Она в случае, если бы я ей не угодил, могла наделать бед, выстрелить в меня, например... Жениться на ней у меня ни малейшей охоты не было. Решительно отдалиться, потерять навсегда привязанность милого существа мне тоже не хотелось. Зачем? Да я не обладаю столь сильным характером, чтобы разорвать грубо зарождающиеся отношения. И я решил пока уехать под каким-нибудь предлогом... Она мне будет писать, я могу даже продолжать ее развитие в моих письмах... А потом все постепенно образуется.

И я покинул мою пылкую Леночку. Она бледнела, теряла сознание, говорила сдавленным голосом отрывочные речи,

обращала на меня свои темные, горящие глаза – несколько раз я боялся, что выйдет история, особенно при матери. Но мама апатично ела пряники и, намеренно или ненамеренно, ничего не замечала. Несколько раз я сам колебался: уезжать ли? Вдруг Леночка погаснет так же скоро, как вспыхнула? А ведь девочка она преинтересная... но потом, вспоминая, что очень будет хорошо теперь очутиться у Неаполитанского залива, решил: пусть Леночка останется про запас. Если явится особенный каприз, вкус к любви – ну, можно и Леночку. А пока – прогуляемся.

Я поступил чрезвычайно честно тогда. Между нами ничего не было, кроме одного случайного поцелуя, да и тот вышел не по моей вине. Она подстерегала меня на лестнице в темноте и бросилась ко мне на шею. Не разыгрывать же мне прекрасного Иосифа!

На словах я тоже ей много не обещал. Сказал, что приеду и что вообще может быть хорошо. Вот и все.

И я уехал. Подъезжая к Варшаве, я уже мало думал о Леночке, а в Вене совершенно ее забыл. Ужасно она забвенная. Не видишь этих глаз огромных перед собою и бледного, как мел, лица – и сразу все забываешь.

Из Вены я поехал в Рим, но там оказалось холодно – и я спустился в Неаполь. Шум этого города сразу расстроил мне нервы. И я решил поселиться где-нибудь потише, поскромнее, тем более, что денег у меня было немного.

II

В Сорренто, в маленьком отеле над обрывом, где за обедом подавали апельсины с ветками и грустные англичанки безмолвно кивали длинными зубами, мне сразу показалось уютно и хорошо. Днем я читал у себя в комнате или в чайной reading-room¹, выходявшей прямо в садик, после обеда, полюбовавшись на залив и темные огни Везувия, шел бродить по городу, заходил в маленькие кафе, пил ликер или замороженную воду и прислушивался к чужому говору и людским шагам в глубине темных, совсем черных улиц.

Наступала настоящая весна. За высокими каменными оградами уже тяжело и душно пахли апельсиновые цветы.

Один раз я сидел так у входа в небольшое кафе за столиком. Передо мной стояла широкая рюмка с кусочками льда. Я задумался о чем-то и не заметил, как из темноты вышли двое людей, остановились, точно раздумывая, и наконец сели за другой столик, передо мной.

К подошедшему лакею они обратились по-итальянски и спросили, кажется, кофе.

Лакей ушел, а я от нечего делать принялся рассматривать своих соседей.

Это были мужчина и дама.

¹ Читальня (англ.).

Мужчину я не мог разглядеть, он сидел ко мне спиной, по тому же, как он держался и ходил, я заключил, что он не молод, и далеко не молод. Зато дама сидела прямо передо мной, я видел и лицо ее, и серую шляпку с полями, и завитки совсем белых, бледных волос на лбу.

Это была даже не дама – а девочка, лет пятнадцати, не больше. Лицо длинное, бледное, как бумага, болезненное, не очень красивое, капризное и такое непонятно-привлекательное для меня, что я как остановил взор, так и не мог отвести его, и все смотрел на измученные и злые черты.

Я невольно вздрогнул от неожиданности, когда старик сказал по-русски:

– Ты опять сегодня ничего не ела, Манета.

Девочка подняла на собеседника глаза, очень светлые, похожие на стеклянные, и произнесла с некоторой грубостью, усмехаясь:

– Не ела так не ела. Не хочу есть.

– Да ведь тебе хуже сделается! – умоляющим тоном продолжал старик.

– Пусть хуже. Тебе-то что?

Нижние ресницы Манеты, хотя не очень черные, были так же длинны и пушисты, как верхние. Поэтому ее прозрачные глаза всегда казались слегка прищуренными. Я даже не могу сказать, чтобы и Манета, и ее глаза мне понравились. Все в ней привлекало меня, тянуло, пугало, а не нравилось. Однако я встал, мало думая о том, что делаю, и подошел прямо

к девочке и старику.

– Извините, – начал я, приподнимая шляпу. – Я услышал, что вы русские, а после долгих скитаний, на чужбине, встретить соотечественников...

У старика оказалось пресимпатичное лицо, доброе, седобородое, хотя глаза смотрели как-то беспокойно, запуганно.

Я тряс руку добродушного старика, который все усаживал меня за свой столик, и смотрел на Манету. Она молчала, глядя мне прямо в глаза холодно, недружелюбно, полупрезрительно.

Я все-таки сел с ними. Старик оказался очень словоохотливым, и хотя Манета продолжала молчать, сжав капризные розовые губы, однако я не был особенно несчастлив, радуясь уже одной близости к этому строптивому существу.

Андрей Андреевич рассказывал мне, что он уже восемь месяцев путешествует с дочерью, которая больна: у нее был плеврит, который долечивать ее послали на юг. Андрей Андреевич вдовец, помещик, вероятно, состоятельный. В единственной дочке души не чаает и, насколько я мог заметить, вполне подчинен ее капризам. Но что такое Манета? Откуда она? Не может быть, чтобы за этими глазами прятались обыкновенные, ребяческие мысли и наивная душа. Впрочем, я тогда ничего не думал. Мне было все равно. Не все ли равно, какая душа? Ее лицо, ее руки, худые, почти костлявые, ее ресницы, цвет кожи, складка в правом углу рта – все меня покоряло, обливало неиспытанным огнем, тревожило и му-

тило. Перед глазами потянулся какой-то дым.

– Папа, пойдем домой, – вдруг отрывисто произнесла Манета, отведя от меня холодные глаза. – Я устала.

Андрей Андреевич засуетился. Манета встала, невысокая, но тонкая и прямая. Я пожал руку, на которую она успела надеть желтую шведскую перчатку.

– Вы в каком отеле? – спрашивал меня Андрей Андреевич. – Мы в Angleterre.

– Как в Angleterre? И я там. Отчего мы не встретились до сих пор?

– А ведь мы не выходим к ихнему табльдоту. Манеточка не может выносить... А целые дни гуляем, бродим... Очень рад, очень рад соседству...

Манета, кажется, не была рада. Она нетерпеливо стучала каблуком о каменную плиту тротуара.

Пошли мы все вместе. Манета взяла под руку отца и продолжала молчать. Темнота и теплота душистой ночи меня тревожили. Я дрожал, сердце билось неровно, и я недоумевал, что делается со мною.

На лестнице отеля мы простились. Я опять пожал тоненькую ручку. На этот раз Манета прервала молчание и сказала, хотя холодно, но все же сказала:

– Спокойной ночи.

Это пожелание не сбылось: я едва уснул на рассвете.

III

Нечего и говорить, что я постарался как можно ближе сойтись с Баториными, хотя это оказывалось нелегко. Андрей Андреевич был рад мне, зато Манета косилась и молчала, презрительно сжимая губы. Я влюбился в Манету с первого момента, хотя понял, что люблю, не сразу – слишком это для меня было неожиданно, непривычно и невероятно. Я никогда не любил и очень искренно считал себя на любовь не способным. И теперь влюбился неистово, с бессонницей, с рыданиями, со злостью. Я даже не мог решить, что мне в ней нравится. Елена была не в пример красивее. Характер строптивый, мелочный, быть может, капризный. Ум... не знаю, какой ум, да и не интересуюсь глубоко. Не все ли равно? Она вся была мне нужна, необходима. Без ее воздуха, без ее глаз я уже не мог жить.

Я узнал, что Манете вовсе не пятнадцатый год, как мне показалось сначала, а двадцатый, и что она никогда, и до болезни, не была ни полна, ни румяна. Я даже узнал, что у Манеты есть дома жених (что объяснил мне Андрей Андреевич) – их сосед по имению, прекрасный молодой человек. Свадьба отложена на неопределенное время по случаю болезни Манеты. Когда я это узнал, я плакал навзрыд целую ночь. Я понял, что не могу перенести жениха. Я лучше сам женюсь на ней. И ужас меня охватил: вдруг она не полюбит меня? Я хром,

я некрасив. Я чрезвычайно некрасив.

Боже мой! Сколько женщин меня любили! И в сущности, все они, вместе взятые, были мне менее нужны, чем желтая шведская перчатка Манеты. В первый раз в жизни я потерял самообладание и уверенность в себе.

Манету я решительно не понимал. То мне казалось, что она не подозревает и тени происходящего. Углубленная в свою болезнь, в капризы... То, напротив, я смотрел на нее, холодея: мне казалось, что она читает в моей душе, как в открытой книге.

Мое недоумение длилось недолго.

Утром, после той бессонной ночи, когда я впервые понял, что Манета может кого-нибудь любить, что у нее есть жених, я вышел на веранду нашего сада, надеясь никого не встретить в столь ранний час. Я не поверил глазам, увидав Манету. Она сидела на качалке, одна, ничем не занятая, даже без книги.

– Здравствуйте, Марья Андреевна, – сказал я робко.

– Здравствуйте, Тарраш.

Она прозвала меня Таррашем, уверяя, что в ее представлении знаменитый шахматист обладает именно моей наружностью.

– Вы так рано встали? – продолжала она, всматриваясь в мое лицо.

И вдруг расхохоталась.

– Знаете, Тарраш, да вы совсем не спали! Да, не спали и...

плакали, это видно. И хотите, я вам скажу, о чем вы плакали? О том, что у меня есть жених. Я ведь слышала, что папа вчера проговорился.

Я молчал, ошеломленный. Манета продолжала спокойно:
– Вы думаете, я не вижу, что вы в меня влюблены? Да, влюблены, не отрицайте. Я и говорю так смело только потому, что уверена. Вы молчите? Вы недовольны моей открытостью?

Я вдруг кинулся к ней, схватил ее руки и, задыхаясь, прошептал:

– А вы?.. А вы? Вы меня можете любить?

– Послушайте, – произнесла Манета серьезно, освобождая руки. – Я уйду, если вы не будете сдержаннее. Успокойтесь, чтобы я могла с вами рассуждать. Теперь, когда дело пошло начистоту, я с вами шутить не хочу, Виктор Петрович. Я давно знаю, что вы меня любите. Сама я вас не люблю и никогда не полюблю, пожалуйста, знайте это.

Я вскрикнул и опустил руки. Я страдал искренно. Манета улыбнулась.

– Только не упадите в обморок. Я боюсь мужчин в обмороке. И это годится с теми, которых вы не любите... («Откуда она знает?» – промелькнуло у меня в голове). А меня вы любите. И я вовсе не жестокосердна, хотя пряма. Я вам скажу сейчас главную штучку, которая вас утешит немного. Я вас не люблю, да и не могу любить, но позволяю вам меня любить – это раз; затем объявляю вам торжественно, что за

моего жениха я замуж не выйду, да и вообще ни за кого не выйду – никогда. У меня свои соображения. Это вас утешает?

Я стал на колени и, едва касаясь губами, поцеловал бледную руку. Я, сам того не сознавая, надеялся.

Потянулись острые, колючие, безрадостные дни оскорбленной любви и ревности, страсти без выхода, тупого подчинения, почти рабства.

В сорок лет я любил в первый раз. И туман застлал мои глаза.

IV

Проходило время. Я сказал, что глубоко не интересуюсь ни душой Манеты, ни ее умом. Но мало-помалу я стал думать, что я и люблю-то в ней именно непонятную мне душу, и люблю ее глаза, ее лицо, ее волосы только потому, что в этом проявление ее души. И только так, только посредством такого тела могла проявиться пленившая и победившая меня своей непроницаемостью душа. Оттого я любил ее тело.

Я не замечал, как приближалось лето, как синело и теплело море, как начали жечь солнечные лучи. Я жил как во сне. Манета была со мной ласкова, а я ни о чем не думал, кроме своей любви к ней.

Один раз утром, когда я читал письмо из России, призывающее меня домой, я услышал стук в дверь.

Вошел Андрей Андреевич в сопровождении плотного, высокого молодого человека, блондина добродушной и приятной наружности.

Я похолодел. Я вдруг сразу понял, что это и есть тот сосед по имени Баториных, который считался женихом Манеты.

Мы познакомились. О чем говорили – я не помню. Кажется, я ничего не говорил. Притворяться я не мог. Плотный блондин мне был непереносим.

Я знал, что Манета меня не любит, что она может уйти от меня навсегда, если я преступлю ее волю. Она не жела-

ла ссоры между мною и Снарским. Но я не рассчитывал, не рассуждал. Я не мог, физически не мог вынести этой двойственности, не мог смотреть на Снарского с желанием убить его – и обедать за одним с ним столом.

И в тот же вечер я завел ссору, глупую, детскую, стыдную. Мне было все равно. Если бы не вмешалась Манета – мы дрались бы на другой день. Я до сих пор не припоминаю и не понимаю, как она это устроила, но на другой день вещи мои были сложены, я уезжал в Россию, а Манета, провожая меня, держала мои руки и говорила, глядя прямо своими светлыми, бледными глазами:

– Какой вы странный, Виктор Петрович! Разве я вам не сказала, что я никогда не выйду замуж? Вы это забыли? И если вы сумеете любить меня, как теперь, мы никогда не расстанемся. Все зависит от вашей душевной силы. Мне нравится ваша любовь – только побольше доверия... Я никогда не лгу. А замуж я не выйду.

– Что вы со мной делаете... Когда мы увидимся?

– Через три недели. Приезжайте в Нырки. Мы будем уже там.

– А Снарский?

– Не знаю... Не все ли равно? – Она пожала плечами, глаза сделались мрачными. – Виктор Петрович, я еще раз прошу верить мне во всем безусловно. Без веры мне любовь не нужна. Если я увижу, что вы хотя бы собственным глазам больше верите, чем мне, – я этого не потерплю.

Она улыбнулась. Мне стало холодно и страшно. Я поцеловал худую ручку и уехал безумный и больной.

V

Не прошло и месяца, как я уже был в имении Баториных в новгородской губернии. Манета, в ситцевом платье, с беленьким платочком на голове, казалась совсем деревенской барышней. Она даже сделалась как будто здоровее, бледность была без желтизны... Но глаза по-прежнему смотрели не то презрительно, не то зло – и я по-прежнему любил эти глаза и поклонялся им.

Манета будто все присматривалась ко мне. Она не молчала со мной, как прежде, но нередко обрывала разговор, грозивший сделаться задушевным, вдруг уходила в себя, отвертывалась, и я оставался один с моей не угаданной тайной, с мыслью о ее недостижимой душе.

Дни стояли жаркие, яркие. Я уже гостил у Баториных недели две. Мы как-то шли с Манетой по дороге, ведущей в город. Нас обогнала тележка. В ней сидел очень юный брюнет в форменной фуражке. Он раскланялся с Манетой, и мне показалось, что она кивнула ему головой с особенной улыбкой.

Этого было достаточно. Красный туман опять застилал мои глаза.

– Кто это? – спросил я.

– Так, один... Да что с вами?

– Нет, ничего...

Манета молча окинула меня быстрым взглядом и вдруг побледнела. Я хотел заговорить – и не мог.

Мы молчали до самого дома, только подымаясь на ступени крыльца, Манета сказала, по-видимому, небрежно:

– Знаете, скоро Снарский приедет... Я очень рада, здесь так уединенно...

И она опять взглянула на меня. Должно быть, мое лицо было жалко и страшно, потому что она сейчас же, резким шепотом, прибавила:

– Вы опять ревнуете меня? Вы опять не верите мне.

– Нет, нет. Ради Бога...

– Помните, Виктор Петрович, недоверия ко мне, к самому пустому, как и важному моему слову, я не вынесу. Мне радостна любовь с великим доверием; вы должны верить мне больше, чем собственным глазам. Только такую прямую, как стрела, любовь я уважаю.

– Я верю, я верю, – лепетал я. – Разве я хочу от вас чего-нибудь? Только дышать вашим воздухом.

Вспоминая теперь эти слова, изумляюсь им от всей души. Я ли это был? Я, такой смелый с женщинами, такой любимый ими...

Манета пожала плечами и посмотрела холодно.

– Я предупредила вас, – медленно выговорила она и, повернувшись, пошла вверх по лестнице.

VI

Я провел ужасную ночь. Я не спал ни минуты; в утомленном, измученном мозгу вставали дикие видения. Я не понимал эту девушку. Кто мне сказал, что она правдива? Почему она не может быть лжива? Она меня не любит... Я ей нужен как лишний поклонник – ведь она может гордиться моей безумной любовью... И она лжет мне, ей нравится... кто? Проехавший брюнет? Снарский?

К утру я немного успокоился, хотя понял, что Снарского видеть не могу. Когда он будет? Надо уехать раньше, переждать в городе этот визит. Иначе нельзя.

После завтрака, за кофеем, Манета неожиданно сказала, что ждет Снарского на другой день. Я постарался сделать равнодушное лицо и ответил, что совершенно необходимо уехать сегодня в город на несколько дней. Это известие было встречено глубоким молчанием.

– Я могу получить лошадей, Марья Андреевна?

Мне показалось, что Манета из-под опущенных ресниц взглянула на меня сбоку.

– Надо сказать папе, – протянула она. – А у меня есть к вам просьба.

И она опять взглянула сбоку.

– Какая? Я с удовольствием...

– Свезите письмо в город, бросьте в ящик. Мне надо, что-

бы оно ушло до завтрака...

– Пожалуйста... Где же письмо?

– Сейчас, – сказала Манета и вышла из комнаты, легкая и тонкая, как тень.

Я остался один и долго ждал. Явился Андрей Андреевич с сенокоса, в коломянковой паре, стал было меня удерживать, но успокоился, когда я сказал, что вернусь через несколько дней. Успели и лошадей запрячь, тройка пофыркивала и позвякивала колокольчиками у крыльца. Слуга вынес мой чемоданчик. Наконец появилась Манета, тихая, неслышно ступая. В руках у нее было письмо.

Я взял письмо и, не глядя, сунул его в боковой карман. Что-то странное было в лице Манеты. Мне хотелось целовать ее руки, но тут был отец. Я ждал услышать ее голос, но она не произнесла ни слова. Я должен был сесть, лошади тронулись, и я уехал.

VII

Пыль крутилась и плыла за экипажем. Однообразный звон колокольчика и стук копыт о твердую землю усыпляли меня. Мысли были опять безнадежно злые и туманные.

«Вот я уезжаю. Там будет Снарский. Она не любит его... а если лжет? Что, если приехать сразу, явиться неожиданно... Она смутится... Нет, какой вздор. Ведь я ей верю... А она поняла, что я уезжаю от ревности. Неужели поняла? Значит, я ей не верю?»

Вдруг мысль о письме кольнула меня иглой. Кому она пишет? Что это за письмо?

Я поспешно вынул письмо из кармана. Конверт был большой, продолговатый, синий. Решительным и острым почерком Манеты (я знал этот почерк) на конверте был написан адрес Снарского.

Помню, что голова моя физически закружилась, как будто я взглянул в пропасть. Всю жизнь мне предстояло мучиться, не смея не верить и не умея поверить, а разгадка была так близка. Если бы можно было знать, что написано в письме – можно жить, любить и умереть спокойно. Манета или вполне правдива, – или вполне лжива. И это письмо заключает разгадку. Даже по неважной записке – если это записка – можно понять, свойственна ли Манете неискренность. Но это не записка. Это письмо. Манета уверена, что я его не

открою, еще бы! И вместе с тем она хочет подчеркнуть свою беззаботность, свою симпатию ко мне... «Отвезите письмо Снарскому... Ведь вы должны мне верить...»

Нет, довольно притворства! Я ей не верю. Она лжет и смеется надо мной. Смеется, когда я умираю... Я должен, я имею право прочесть письмо. Я слишком люблю.

Я надорвал синий конверт. На секунду какой-то торопливый, но внятный голос заговорил во мне: что ты делаешь? А если она окажется невинной? Что ты делаешь? Письмо беспомощно, беззащитно. Оно в твоих руках. Оно не может ни крикнуть, ни протестовать. Оно не может остаться верным своей госпоже, оно выдаст ее, если ты разорвешь этот легкий конверт. Это насилие – и самое страшное, насилие над человеческой душой.

Но через секунду этот голос умолк. Неистовое, зверское, непобедимое желание знать, а не верить, охватило меня, сжало, сдавило горло. Я был бессилен.

И я разорвал конверт.

Письмо было любовное.

VIII

Не знаю, сколько дней или недель я прожил в городе, и не помню, где и в какой обстановке я жил. Кажется, шторы в комнате были опущены, а я лежал в кровати и смотрел в потолок.

Потом я встал, выполз на свет, нанял лошадей и поехал в Нырки.

Я приехал вечером, но не поздно. Андрей Андреевич и Манета пили на балконе вечерний чай. Гостей не было.

Андрей Андреевич испустил несколько возгласов, но Манета встретила меня так, как будто видела вчера. Удивительнее всего было то, что и я держал себя очень естественно и развязно.

Свечи оплыли, чай убран. Темный сад чернел и серел за перилами балкона. Андрей Андреевич несколько раз зевнул, предупредил дочь, чтобы она была осторожна и не простудилась, – и наконец ушел спать. Мы с Манетой остались одни.

Конечно, я и не думал рассказать ей мой поступок. Я чувствовал себя настолько выше ее, что не удивился бы, если бы она встала на колени и целовала мои руки, умоляя о прощении.

Но если она не начнет сама, я буду молчать. Я не мог решить теперь в душе, люблю ли ее еще: ведь я ее знал... А любить, вероятно, можно одно неизвестное...

У меня был готов сорваться обиденный, полунасмешливый вопрос о чем-то, но я взглянул на Манету и невольно остановился, следя за меняющимся выражением бледного, прозрачного лица.

Губы все больше и больше раздвигались, блеснули тесные зубы, глаза сузились и потемнели – Манета беззвучно смеялась, глядя на меня неотступно холодным и острым взором. Я хотел спросить, остановить, отвести глаза, быть может, закричать на нее – и не мог. Я только произнес сдавленным голосом:

– Чему вы?

Манета продолжала беззвучно смеяться, слегка покачивая головой.

– Чему вы? – прошептал я опять.

– Я знаю... Ведь я все знаю... – ответила Манета так же тихо.

– Да это я знаю! – хотел я крикнуть, но крика не вышло: мне вдруг почудилось на мгновение, что я – опять ничего не знаю... И я только мог шепнуть:

– Говорите...

– Смеюсь над вами... и над собой, – сказала Манета. – Вот скажу вам прямо: вы не верили тому, что я говорила вам о себе. Вы уехали, чтобы не видеть меня и Снарского вместе. Вы подумали, что я могу лгать. Все это вы от меня скрыли, говоря, что любите меня настоящей любовью – с верой. Мне нужно было убедиться в моих подозрениях. Мне нужно бес-

предельности в вере, как и в любви; конечно, мое испытание было не по силам вам. Письмо было дано вам нарочно, Виктор Петрович. И написано оно было нарочно. Вы не поверили моим словам – вы открыли письмо. И вы не поверили моим словам, а поверили, читая письмо, вашим глазам. Любовь не научила вас истине. И вы мне больше не нужны, Виктор Петрович. Ни вы, потому что бессильны любить, ни ваша любовь, потому что она бессильна верить... Прощайте.

Она встала, повернулась и пошла вон. На пороге остановилась вдруг и взглянула на меня, опять улыбаясь:

– А может быть, я и теперь лгу? Надо же оправдаться! Конечно, лгу. Или нет? Вот вам работа, решайте задачу! Только решайте без меня... Доброго здоровья!

Она ушла. И с тех пор я ее не видел.

IX

Конечно, она лгала. Несколько лет минуло с нашего последнего свиданья, и я никак не мог думать иначе (да и не желаю) – она лгала. Я успел опомниться от тумана, я выздоровел, я опять прежний... Старюсь замечать в женщине только милые черты, увлекаюсь ножкой, разрезом глаз, наивностью в улыбке, красивым цветом волос... И женщины меня любят. И все ясно. Неужели это я так мучился, так унижался перед бледнолицей, некрасивой девушкой, которая требовала от меня слепой веры и небывалой любви и которая смеялась надо мною. Смеялась потому, что ведь доказано, что она лжива, ведь не могу же я сомневаться, что знаю ее искреннюю душу?

Я так спокоен, так излечен, что даже не задумался жениться на Леночке, той самой, которая любила меня с необычайным пылом. Она красивая и горячая. Ревнует меня (и не напрасно), но я умею хоронить концы.

Как хорошо, что я опять здоров! Это было наваждение. Как хорошо, что я убедился в ее лживости! Она стала мне понятна. А я мог любить ее только непонятную. Ведь нельзя же сомневаться, что она лгала.

Или можно сомневаться?

Ночь. Леночка спит и дышит громко и однообразно. Моя свеча оплывает. При мерцающем свете я вижу чьи-то блед-

ные и чистые глаза... Боже мой! Что со мною опять? Где моя твердость, мое знание? Что, если не она, не она – а я был во лжи?

Свеча потухла. Я больше ничего не вижу.